

# Навстречу Всесоюзному Некрасовскому празднику поэзии

ЧЕРЕЗ ВСЕ СЕЛО прокатили на его костромской конек. Как и всюду в летнюю пору и погожий день, почти все жители села были в поле. Отвыкшие за восемь лет от постоянного проживания господ и почтовых троек, когда-то сновавших взад и вперед до переноса тракта на правый берег, редкие грешневцы, попадавшиеся им на пути, при виде тройки с некоторым удивлением смотрели на них, старики по привычке снимали шапки, некоторые же, завидев тройку издали, делали вид, что не заметили ее, и норовили побыстрее уйти подальше от дороги.

Никто не узнал Некрасова, да, видимо, и не пытался толком разглядеть, кто едет. Только перед самой усадьбой бывший староста Алексея Сергеевича Эраст Торчин — постаревший и заросший — радостно воскликнул: «Николай Алексеевич!» — и поспешил им навстречу. Некрасов сошел с тарантаса, тепло поздоровался с ним и вместе с Торчиным пошел к усадьбе пешком, велел Силантию ехать к музыкантской. Зина тоже сошла. Торчин с любопытством посмотрел на нее и поклонился.

Усадьбы собственно не было. На месте барского дома, кухни, скотного двора и других строений лежали груды камней и голсвешек, черневших сквозь густые заросли бурьяна и крапивы, и только одноэтажное каменное здание музыкантской — облупленное, с заколоченными окнами — одиноко серело на самом краю. Забор покосился, а местами совсем упал. Опаленные пожаром липы стояли одинокими — с черным скелетом ветвей, обращенных к сгоревшему дому, и зеленой половиной, удаленной от огня. Только яблони уцелели. Трава вокруг них была приотпана. На земле валялись обеды еще совсем зеленых, незрелых плодов. Только они и напоминали здесь о живых людях.

Если бы не бурьян и крапива, полонившие все кругом, можно было бы подумать, что пожар произошел всего несколько дней тому назад и растерянные хозяева еще не успели ничего прибрать: все лежало нетронутым, как застигла беда. Мужики обходили ненавистное место стороной, и только подростки за восемь лет ребятишки, не изведавшие барского прута, навдывались в сад.

Некрасов молча ходил по пустырю, временами останавливался, смотрел на остатки здания или уток парк, потом шел дальше. Торчин семенил сзади и тоже молчал — боялся подать голос при виде удрученного «молодого барина». Зина растерянно стояла перед покореженной огнем грудой железа, смутно напоминавшего то ли кровать, то ли еще что.

«Вот она, плата за века слез и страданий», — подумал Некрасов и сел на покосившуюся скамейку под липой, в стороне от дома. Зина устроилась рядом. Торчин опустился на траву против них.

Как же все-таки получилось? — после продолжительного молчания спросил Некрасов, желая еще раз услышать о пожаре от очевидца.

Барин-то, Алексей Сергеевич, уехавши были, в городе больше жили. Жара стояла — не привади господи. Рожь поспевала. После обеда я с мужиками в поле поехал. Без присмотра какая работа. И прежде-то не шибко старались, а тут волю объявили. Все ее ждали... и снова на барина... Не хотели работать. Я едва уломал... — замолчал Торчин, вспоминая, затем встрепенулся: — Поработали немного, слышь, кричит Ефим: «Пожар!» Глянули, а над барским домом огонь столбом. Пока бежали — кухню запалило, конюшня задымила. Почитай, в одночасье и порешилось. Слава богу, скотина в поле паслась, да лошади на работе были. Жеребью Машку я успел вывести — в конюшне стояла, а две коровы так и сгорели...

Алексей Сергеевич на другой день приехал — кричит, меня за грудки схватил: «Ты чего смотрел? Кто запалил?» Кинулся было на мужиков, а они толпой, глаза в землю, молчат, не шелохнутся. Опешил барин. Не бывало такого, чтобы всей толпой да молчком. Все, бывало, какой-нибудь да подластится, а тут молчат. Воля тогда всем известна была. Коли воля дадена, человек в сердцах все может, если не по нелюбю... Знать, недоброе что почудилось барину — обмяк разом, сел в таратайку, а по лицу слезы текут. Не видели мы таким барина. А потом выругался по-матерному, столкнул Степана с козел — он за кучера был, — схватил вожжи, хлестнул коней — и укатил. С той поры мы его живых не видели...

Помолчали все трое. — Отчего загорелось-то? — Кто его знает, всякое говорят. Вроде знако, не было, в поле все работали. Воля божья! — заключил он с едва уловимой улыбкой, бросив на Некрасова быстрый взгляд и опустив глаза.

## Анатолий Тарасов Повесть ВСЕГО ОДНО ЛЕТО

В ЕЛЕВ Силантию распрягать и устраниваться до утра, Некрасов с Зиной наскоро пообедали и пошли на Теряеву гору. Полверсты до нее, не больше.

Вышла Зина на самое высокое место, глянула на все стороны — и дух захватило: необъятное море лесов и лугов с островками церквей и деревушек простиралось до самого горизонта. Не хуже Карабики! Здесь даже больше простора.

Налево в далекой дали чуть просвечивали освещенные клонившимся к западу солнцем золотые головы Ипатьевского монастыря.

— Это уже Кострома, — сказал Некрасов, — верст сорок будет. А вон прямо возле блестевшей Волги — церковь Диева-Городища. Мы туда с мальчишками купаться бегали. По прямой верст шесть, но надо два раза переходить Самарку. Кто не знает места, заблудается.

Милая с детства картина окончательно вернула ему хорошее настроение, и он с увлечением показывал ей одно памятное место за другим.

— А вон видишь голубое

его рассказе четкой последовательности во времени: за событием раннего детства следовал эпизод поздний, затем он снова возвращался к детству...

Вспомнил он, как «делили» Степана.

— Все мужики давно были поделены, еще до нашего приезда сюда на постоянное жительство, а его привели при мне. Кому его отдавать?

Тетка Татьяна запросила себе:

— У меня мужиков меньше...

Тетка Елена приехала специально из владимирского имения — туда замуж вышла, — тоже потребовала:

— Мне...

Отец предложил оценить Степана в шестьсот рублей, отдать ему, а он выплатит остальным деньгами, кому какая часть положена по закону.

Елена закричала: «Я все-таки даю!» — она богатой была — и забрала Степана себе. Взять-то взяла, а денег не платит. Отец уже судился с ней из-за владимирского наследства, он и из-за Степана в суд подал.

— Садись на подводу!

А третий — Петр Гундерин — наш, грешневский, совсем молодой, только жениться собрался. Смотрел, смотрел на все, а потом... дом-то рядом — кинулся во двор, схватил топор и отхватил себе на правой руке по самую ладонь два пальца... Кровь хлещет, а он побелел весь — то ли от боли, то ли от страха...

Отец ямщину держал от Ярославля до Костромы. В Тимохине станция была. Там лошадей меняли, а конюшня рядом — в Ермолицыне, завтра проезжать будем, покажу. Возвращаемся раз из Рыбниц, отец по делу раскольников ездил, а навстречу наша тройка — Семен какого-то чиновника по казенной надобности везет. Останавливает отец Семена:

— Почему едешь, сегодня не наш черед?

— Так Хабаров велел...

— Ах он, сукин сын, своих лошадей бережет, а моих гоняет!

Завел в Тимохино, схватил смотрителя за ворот, а потом за волосы и лицом об стол. Всего раскровянил. Тычет да приговаривает:

— Не поий мой лошадей, своих для казенной надобности имеешь.

Потом почтмейстер Жадовский на него жалобу подал, дело в суде лет десять тянулось.

...Каретная мастерская была. Зимой, когда в поле дела нет, всех мужиков в мастерскую сгонял: кто оглобли, кто скамейки строгают, кто полозья гнет, кто сковызает... Баб и ребятишек паклю драить для сидений приспособил. Потом кареты в Ярославле продавал. Помню столаря Дмитрия Петрова. Хороший мастер был, не выдержал постоянного унижения — без зуботычин и порки у отца ничего не получалось, а кому это нравится. Стал мужик попивать дальше больше. Однажды — это уже без меня было, после смерти матери — его обзинули воровстве: на что пьет? Отца дома не было — ездил в Кострому. До приезда отца его на цепь посадили. Была та же на кухне. Чуть что — на нее сажали до разбирательства...

Когда отец вернулся, избил его сначала кулаками, а потом, когда мужик свалился на пол, ногами. Привычка такая была — ногами бить. Избил всего, а потом снова на цепь посадил до утра: утром сознаешься, куда краденое дел. А Дмитрий ничего не брал. Не выдержал мужик, с обиды, когда за ним утром пришли, схватил нож и располосовал себе горло. Только рука, зная, дрогнула — не досмерти... Отвезли в больницу, а когда поправился, на него же отец в суд подал.

— Приезжаю из Петербурга — это в тот раз, когда на охоту ездил. Ходит Дмитрий каким-то чумным, а на горле красный шрам. Пропал потом Дмитрий — то ли сбегал, то ли снова руки на себя наложил, да не нашли где...

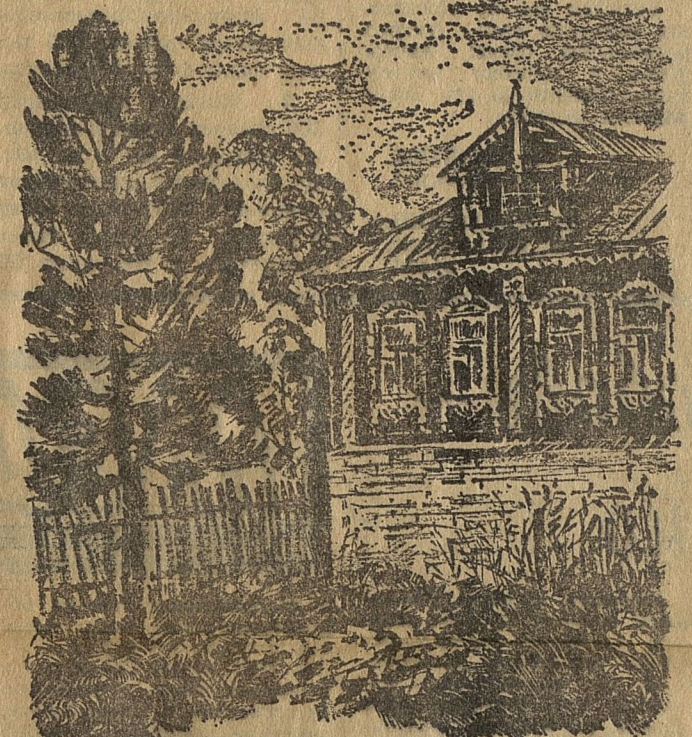
Помню сестру его Наталью — тоненькая такая, совсем девочка. Когда делили крепостных после деда, ее родители достались моей тетке Татьяне, а она с братом — тетке Елене. Потом Елена вышла замуж и уехала к мужу, а Наталью оставили у родителей ее. Отец затеял суд с Еленой из-за владимирского наследства и вынул у нее и владимирское имение, и здешних крепостных. Но в списке крепостных Елены Наталью записать забыли — у родителей жила, а родители — у Татьяны. Когда отец узнал об этом, потребовал ее к себе и заставил мыть полы. А она слабенькая была, ведро воды поднять не могла. Это летом было при мне, еще я в Петербург первый раз собирался ехать. Она возьми и скажи, что прежние господа ее мыть полы не заставляли.

Отец как ударит ее, она так и рухнула на пол, а потом ногами. Моя мать как кинулась на него — откуда и сила взялась. «Не тронь!» — кричит...

Отец опешил, а потом рукой махнул и ушел. Едва мать Наталью выжила...

И замолчал надолго. А потом встрепенулся:

— Мать он никогда пальцем не трогал. Иногда даже слушался ее, когда она за мужиков заступалась. Но не всегда. Чаще просто не замечал. А она видеть не могла, когда людей бьют: побелеет вся, сожмется, глаза заблестят, но без слез. Первое время всегда заступалась. А потом отец чаще без нее это делал. Или сам на конюшне, или старосту заставлял. У нас это называлось «отправить на девятую половину». Услышит мать, как стонут или кричат на конюшне, уши зажмет, побежит к себе в комнату, на кровать упадет. Били мужиков, а у нее сердце кровью обливалось. От этого и умерла: захлопала, глядя на чужие страдания...



Грешнево. «Музыкантская».

Рис. А. Лебедева.

блюдо среди зеленого лесочка. Это Лешее озеро. Мне было одиннадцать лет, когда отец подарил ружье и я поздней осенью, в октябре — по берегам уже ледок, — подстрелил первую утку. Собака не шла в воду. Поплыл сам и достал. Потом неделю лежал в лихорадке. Едва мать выходила.

— А вон там, в лесочке... — и неожиданно замолчал.

Перед глазами его удивительно четко встало перекошенное гневом лицо отца, рыжая тень лисы, метнувшейся в кусты, свист арапника, изогнувшаяся фигура Данилы:

— За что, барин? Новый свист арапника и хлесткий удар...

Зина с недоумением смотрела на него — поникшего, сразу постаревшего — и ничего не понимала. А он после минутного молчания обвел потускневшими глазами померкшие и посеревшие дали:

— Я... обещал тебе... рассказать про отца... с трудом выдавливая из себя каждое слово, глухо заговорил он, и в голосе его снова, как у могилы матери, слышалась она ту же клокотавшую внутри, еле сдерживаемую боль: — Слушай... Это было в последний раз на моих глазах... Годы через три после смерти матери я приехал снова и остался здесь до осени. Отец пригласил на охоту. Поехали верхами с гончими. Вон там, за речкой, возле лесочка, гончие подняли лису. Она кинулась к кустам — только там было ее спасение. Данила должен был перекрыть ей путь, но не успел. Разгневанный отец тут же, на месте, исхлестал его арапником... Потом, дома, он оправдывался, что не сдержался: «С этой сволочью иначе нельзя» — и дал слово не поднимать руку на мужика у меня на глазах. И слово это сдержал. А сколько я видел таких сцен в детстве...

Помню, как пригнали из Ярославля Степана Петрова, — уже спокойнее заговорил он, — бежавшего лет за десять до этого, побродившего по свету, добравшегося даже до Бессарабии, где его и поймали. «А, путешественник, расквашен-ка нам, как на турчанок любовался», — издевался над ним отец, наказывая за малейшую провинность, а иной раз и без нее — просто так...

Он окончательно успокоился, хотя говорил так же глухо, как обычно читал стихи, только с большим напряжением и чаще останавливался, вспоминая или возвращаясь сказанное, иногда возвращаясь и поправляясь. Да и не было в

Присудили Степана ему. А тот у тетки уже три года жил. Знать, там полегче было. Незлобился его отец. Постоянно придирался. Всякому терпению бывает конец. И Степан не выдержал, напился раз пьяный и похвалился мужикам: «Убью барина, все равно мне не жить!»

Нашлись наушники — доносили. На другой же день отец его в солдаты сдал — подальше от себя. Даже без зачета, даром.

И СНОВА ЗАМОЛЧАЛ. Не любил он рассказывать людям о своем детстве, особенно о тяжелой стороне его. Только для своей Музы иногда делал исключения. И теперь, остановившись, сам удивился, почему так легко открылся Зине.

А все началось еще утром, когда она так искренне и просто опустилась на колени перед могилой его матери и непонятным для него образом своими слезами сняла с него обет молчания, размыла ту скорлупу, которой он еще ребенком, подавленный торжествующей неправдой и жестокостью, закрылся от людей.

Может быть, человеку образованному, умудренному и искусному он бы не сказал всего этого, но она слушала с таким участием, так откликалась на каждое слово, каждый жест его, что он не мог остановиться, а растроженная память все подсказывала и подсказывала одну историю печальной другой...

Вот его отец, будучи исправником, вершит суд в уезде.

— Прослужил он исправником года полтора, не больше. Потом, на следующих выборах, его дворня «прокатили на вороних»... Мне тогда почти пятнадцать лет было, и отец часто брал с собой ветки бумаги, сам-то писал плохо.

Приехали в деревню. Мальчик лет двух в пруде утонул. И не пруд, а лужа посреди деревни — скотину поили. Лето, все на работе в поле. Старик нянчился, да задремал, а много ли ребенку надо, забрал в воду и захлебнулся...

Отец кричит на старика:

— Ты зачем утопил ребенка?

На мать:

— Сговорились?

А лекарь руки потирает, инструменты готовит для вскрытия.

Мать на колени:

— Не троньте!

Вот у них самих отправляют в солдаты сразу трех мужиков: Якова и Автонома из Кошевки; оба женаты, у обоих по Катерине... Яков постраше — сыниска лет четырех за ноги цепляется, жены режут. Отец кричит: